

На переходе от пятидесятых годов прошлого века к шестидесятым польский писатель выпал на поверхность советской планеты и на глазах врос в нее, оставаясь инопланетным, но при этом интенсивно укореняясь и по ходу укоренения нас, советлян, чему-то все время обучая — ну, по крайней мере, принуждая невзначай, искося взглянуть на примелькавшуюся жизнь.

Это было именно вторжение — по названию рассказа в одном из самых ранних сборников («Вторжение с Альдебарана», 1960) — о стекловидных *грушах*, падающих на землю из космоса; о том, как ядро внутри такой груши «свободно принимает форму человеческих фигур, угла дома и даже кустарника» прежде, чем все эти люди и предметы сгорят или обуглятся под ее воздействием. И когда любопытствующий юноша пытается узнать у профессора, с какой же целью ядро этого неземного организма, попавшего на землю, создаст слежки объектов, где проходило его, так сказать, детство, — автор будто встряхивает нас что есть силы, чтобы мы наконец опомнились и хотя бы потупились перед чудом *земной жизни*, чудом ее воспроизведения, нисколько не более понятного нам, чем процессы в неземных существах.

« — Извините, но дело вовсе не в этой груше, — сказал Хейнс. — ... Эта проблема в такой же степени относится к растениям, животным, к людям — ко всем существам. В обычной жизни мы не задумываемся над нею, потому что привыкли к жизни, к нашей жизни, такой, какая она есть. И нужны были чуждые, другие для нас организмы, чтобы мы ее открыли заново — еще раз.

— Ага, — нерешительно проговорил молодой человек, — значит, речь идет о смысле...»

Телеология той власти и тогда, и до последних ее минут была в том, что не дай нам Бог почувствовать чудо жизни: нет, следует пробежать ее всю бесчувственно, сбывчившись, насупившись (сколько лет иностранцы поражались на наши лица), глядя лишь под ноги, по привычной дорожке дом-работа-собрание-магазин-дом. Лем встал (или лег) поперек этой примелькавшейся дорожки.

Задолго до этого, в начале прошлого века, русская литература была пронизана ожиданием катастрофы, обмирающе-радостным предчувствием непременно идущего вслед за ней обновления. Поэто-

му идея новой земли и нового неба у первых «научных» фантастов XX века (тринадцатитомное собрание сочинений Г. Уэллса начало выходить в 1909 году) легко нашла в ней отклик. Идея катастрофы как *резкого* («революционного» — подобно освобождению от ветхого Адама) обновления обветшавшего общества была оторефлектирована в отечественной словесности гораздо более, чем идея *скудной* — «необъятная серая паучиха скуки», содрогалась от отвращения Блок в октябре 1906-го, — эволюционной работы. Чехов достаточно поработал

СВОЙ ИНОПЛАНЕТЯНИН

К 80-летию Станислава Лема



над компрометацией работы дяди Вани (и правда ведь — нестерпимо скучно, несмотря на «небо в алмазах» с двумя персонажами, остающимися на сцене в последние минуты действия) и замучившимися от просветительской работы в российской глуши тремя сестрами.

В начале 20-х годов — когда Станислав Лем родился на свет во Львове — в России фантастика сомкнулась с бытом. В фантастичность голодного, окутанного смертью быта погрузились легко — как в нирвану. В Москве 1921—1922 годов по домам слушают вечерами в авторском чтении «Магические рассказы» П. Муратова и «Фантастические рассказы» В. Мозалевского. Но «фантастика» уже шла декретированным образом на смену «магии» и «мистике». Еще несколько лет назад «Философский словарь» 1913 года пояснял, что мистика указывает «на связь мира конечного с бесконечным», что без

нее «исчезла бы религия и заглохло искусство». С каждым же советским годом обвинения в «мистике», то есть в личном отношении к бесконечному (власть хотела национализировать и бесконечное), становились все опаснее для автора. Фантастика становилась одной из ранних экологических ниш литературы, выйдя за пределы реальной современности, где интенсивно шла регламентация сюжетов и взаимоположения персонажей (очень скоро коммунист уже не мог быть отрицательным), можно было временно увильнуть и даже организовать прибежище для сатиры (повести М. Булгакова). Но недолго музыка играла.

В 70-е годы, когда в фарватер к Лему прочно встали и наши фантасты, фантастика воспринималась как развернутая аллюзия — и читателями, и уже куста пугавшейся (как вскоре выяснилось, не напрасно) властью. Лозаннский профессор Л. Лел-

лер, счастливо сочетающий пытливость российско-го подростка (он уехал из России 14-ти лет) с обширным гуманитарным образованием европейца, провел анализ цензурных купюр, сравнивая «польское и советское издания «Соляриса» Лема. В переводе остались почти все важные и, казалось бы, очень смелые размышления и разговоры героев (за исключением их рассуждений о Боге), урезаны же прежде всего описания фантастических снов и видений, то есть места, где в традиционное повествование врываются алогические и вселиющие ужас в героев и читателей проекции подсознания». Подсознание — это то, что уходит от контроля сознания, а значит — от власти тех, кто берет на себя контроль над сознанием, желательно — всех членов общества. Наши правители не хотели делиться властью над умами сограждан с паном Станиславом.

В чтении «Формулы Лимфатера» — небольшого рассказа в тонкой брошюре 1964 года с тем же названием — было нечто, сравнимое с духовным переворотом. Убедительнейшая картина величия человеческого ума, шагающего к тому, чтобы «выдумать то, чего не смогла сделать эволюция», мучила голову желанием сделать тоже что-то необычное... Автор удовлетворял больше, чем потребность — *жажду*. Советские читатели сталкивались в его фантазиях со свободой человеческой мысли, объединявшей и героев и авторов, с демонстрацией ее мощи, тогда как в тогдашней публичной (не на кухне) жизни *мощь мысли* не существовала как *ценность* (предполагалось, что за нас думает партия).

«Никто не станет читать вашей фантастической поэмы, — еще в 1900 году пояснял Владимир Соловьев, — если в ней рассказывается, что в вашу комнату внезапно влетел шестикрылый ангел и поднес вам пальто с алмазными пуговицами. Ясно, что и в самом фантастическом рассказе пальто должно делаться из обыкновенного материала и приноситься не ангелом, а портным, — и лишь от сложной связи этого явления с другими происшествиями может возникнуть тот загадочный или таинственный смысл, которого нет в *отдельности* не имеют». Будто про Лема написано.

Спасибо, пан Станислав, за нашу и вашу свободу — ведь именно вы уверяли и уверили нас, что невозможное возможно!

Лем Станислав

13.09.01.